

Сто лет назад, 20 января 1890 года, Чехов отправил письмо начальнику Главного тюремного управления Галкину-Враскому, в котором сообщил о своем намерении отправиться весной с научной и литературной целью в Восточную Сибирь, а также на остров Сахалин и покорнейше просил оказать возможное содействие к достижению названных целей. Намерение это было неожиданным для многих знакомых Чехова, и потому его корреспонденты часто недоумевали: «Правда ли! Зачем вам это надо!»

Чехов отшучивался: «Хочется вычеркнуть из жизни год или полтора», «хочу подновить порох в пороховницах», хочу «пожить полгода не так, как я жил до сих пор». За всеми этими отнекиваниями, улыбочками Чехов скрывал некий заветный, может быть, главный замысел своей жизни, вернее, даже не скрывал, а боялся неизбежных пафосных нот при искреннем изъяснении цели своего путешествия.

Какой же замысел владел Чеховым, решившим пересечь всю Россию в весеннюю распутицу и бездорожье? Имевшим слабые легкие и уже мучившимся переболями сердца? Какой принцип он хотел проверить или утвердить своим путешествием? Вряд ли его томил писательский азарт: приобрести новые впечатления и сюжеты для небольших рассказов. Чехов охотно и, думаю, искренне посмеивался над подобными предположениями своих литературных приятелей и знакомцев. В тридцать лет, имея за плечами «Скучную историю», «Тоску», «Агафью», «Ведьму», сомнительно, чтобы он кинулся узнавать жизнь за тридевять земель — ему уже ведомы были ее вершины и бездны. Это мы, грешные, всю вторую половину двадцатого века призываем друг друга активнее вмешиваться в жизнь и быть в гуще народа.

Как практикующий врач, как человек безжалостно ясного ума он ежедневно проникался человеческими муками, телесными и душевными, поэтому вряд ли верно и предположение, что по дороге на Сахалин Чехов хотел приобщиться к живому страданию народа.

Однако несомненно, что качество сострадания, если можно так выразиться, приобрело за время путешествия новые черты, сгустилось, что ли, саккумулировалось в некую новую душевную энергию и требовало новых форм проявления, но об этом несколько позже. А здесь уместно, на мой взгляд, с великой печалью заметить один парадокс нашей жизни: чем обильнее заполняются наши дни страданиями — экономическими, национальными, бытовыми, тем яростнее мы раздражаемся и злобуем, хотя, казалось бы, должны стремиться к взаимному сочувствию и сопереживанию, но, увы, страдания множатся, а сострадание встречается все реже...

Писателя не оставляла в дороге томительная, недоуменная горечь: стоило ли России совершать этот тяжкий, крестный путь от Великой Русской равнины до берега Великого океана, отмечая его «изумительными подвигами, за которые надо благодарить человека», чтобы завершить этот путь каторгой, упереться во вместилище неслыханных унижений человека? Неужели в наказание за имперский размах, оплаченный такой кровью, болью, такими трудами и муками, возникло «это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный»? (Между прочим, в «Архипелаге ГУЛАГ» А. И. Солженицын несколько раз почитательно, но твердо поправляет Антона Павловича, говоря, что невыносимые страдания чеховских времен кажутся весьма безобидными в сравнении со страданиями в сталинских лагерях, а сама возможность побывать в любых уголках сахалинской каторги, предоставленная Чехову лишь корреспондентским удостоверением «Нового времени», представляется Солженицыну удивительным либерализмом прежних времен).

Чтобы отвлечься от горьких дорожных дум или, вернее, чтобы перевести их в энергию сострадания, Чехов с поразительной неумолимостью взялся за перепись сахалинских ссыльно-каторжных и за три месяца и три дня, как он любил подчеркивать, заполнил десять тысяч переписных карточек, встретившись и побеседовав, таким образом, с десятками тысячами горемык и страдальцев. Он персонально проходил горе, беду, преступление, ибо для художника они не могут быть безликими. Но и гражданский отклик на чужое несчастье не может быть абстрактным, а требует материализации в посильном для тебя деле. Обязательной, живой, незамедлительной материализации, иначе, по словам Чехова, только и остается, что сидеть в четырех стенах и жаловаться, что бог дурно создал человека.

Мы вполне созрели не только для поименных голосований, но и для поименной переписи наших личных несчасть — милосердие должно выражаться и в нашем внимании к больным и обогим, и в ежедневном внимании друг к другу. Пока страна тяжело, междоусобно покрывает, становится все очевиднее, что опять никому нет дела до единственной, неповторимой, живой души Ивана или Петрова, изнемогающей от наших фантазматических метаний. Если бы каждый из нас чувствовал персональную свою нужность обществу и стране, он бы не с таким остервенением протестовал против пустых прилавков и бессмысленных денег, ибо он весьма и весьма был бы утешен своей непустой душой, окруженной не раздором и яростью, а уважением и пониманием общества, где ни один человек не появляется на свет для того, чтобы стать массой, толпой, населением. Вот бы и заняться всевозможным нашим милосердием и благотворительным персонализацией личных наших невзгод и раздражений, тем бо-

лее что мы имеем в этом деле уникальный опыт — до появления социологических служб и институтов один человек смог за три месяца и три дня прикоснуться к десяти тысячам страданий, а значит, и несколько утишил их.

После Сахалина, вновь и вновь переживая путешествие, Чехов формулирует суть гражданскую веру, вернее, выставляет ее главные веки, а собственно формула чеховского понимания гражданственности появится несколько позднее. Он пишет Суворину: «Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм!.. Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний — нахальство и самонравие паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше «чести мундира»... Работать надо, а все остальное к черту. Главное — надо быть справедливым, а остальное все приложится».

Вячеслав ШУГАЕВ

Остров Чехова

Сегодня исполняется 130 лет со дня рождения Антона Павловича Чехова. Мы намерены опубликовать юбилейную статью с традиционным набором высоких эпитетов. Перед вами — размышления известного советского писателя о том, как актуальны для нас нравственные, деятельные уроки Чехова.

поднимать нам здесь культуру». Мы переглянулись, с таким внезапным воодушевлением, и стали еще речистее. Рассказали Бондарчуку, что уже давно ездим в Мелихово, основали там День Чехова, участники которого могут хоть раз в году приобщиться к великой жизни и к великому ее завету: духовное рабство начинается с иждивенчества, с желания похныкать и поплакаться в чужую жилетку. Что мы восстанавливали Чеховский лес под Мелиховом, встречались с сельскими учителями литературы, стараясь смягчить их горькую участь (нищенское жалованье и полное невнимание общества к их каторжному труду) сочувственным, дружеским словом и небольшими библиотечками из наших книг; встречались под Мелиховом с колхозниками, студентами техникумов, пытались приобщить их к драматическому движению нашей духовной жизни. Что теперь вот получается или может получиться некий духовный мост: Мелихово — Сахалин, соединяющий столь удаленные друг от друга российские берега благородным именем Чехова.

Бондарчук в ответ на нашу речистость сказал, что наконец в Южно-Сахалинске нашли подходящий старинный особняк, который решено выделить под музей Чехова, точнее, под музей одной книги — «Остров Сахалин». Мы стали убеждать, что вряд ли стоит создавать музей одной книги, — он обречен на гулкую пустоту, лишь голоса пионеров да солдат, выведенных на экскурсию, будут изредка оглашать пространства особняка. Лучше основать в нем Дом

ной вины и собственного равнодушия в наступившем запустении, как и подобает интеллигентным людям. Одна заслуженная учительница даже расплакалась и сквозь слезы все повторила: «Нельзя больше так! Нельзя!» И вдруг пустила шапку по кругу: давайте, кто сколько может, надо с чего-то начать, может, соберем на ремонт Белого моста, который так нравился Чехову. Зашелестели казначейские билеты — так начиналось Чеховское общество в Александровске-Сахалинском.

Общество живет и работает до сих пор, хотя, судя по редким весточкам и телефонным звонкам с Сахалина, живет непростой, работает, преодолевая нередко раздражение и непонимание городских властей. Но тем не менее существует теперь в Александровске телефон помощи для инвалидов и немощных стариков, устраиваются благотворительные концерты и экологические субботники, во дворах появляются детские игровые площадки. Деньги, собираемые и зарабатываемые обществом, вложены, например, в ремонт помещения бывшей сберкассы, где откроется Дом творчества: мастерские художников, выставочный зал, студии для детей и взрослых, кружок керамистов. Помогли даже горкомхозу — купили за наличный расчет цемент для нужд города.

Понимаю, дорогие мои Дымовы из Александровска, какие бюрократические вихри налетают на вас, какую инерцию иждивенчества приходится вам преодолевать! Пожалуйста, не опускайте руки! Помните, как строил Антон Павлович школу в Новоселках: только завезет доски или бревна, как мужики из окрестных деревень растащат их. Чехов с горькой усмешкой заказывал новые бревна и все-таки школу построил — до сих пор стоит. Мы так долго и так упорно тащили друг у друга всевозможные материалы, что никак не можем подняться над нулевым циклом, и все-таки надо построить дом, очаг в котором согрел бы наших детей и наших внуков. И Белый мост надо отремонтировать. И разбить вишневый сад в центре Александровска. Впрочем, ваш товарищ Виктор Рябинин уже увоил горький чеховский урок: зло нельзя остановить злом. Каждый сентябрь он высаживает рябины во дворе, и каждый сентябрь саженцы вырывают, ломают, срубали. Но он опять приносит из тайги рябины. И все-таки они принялись.

Мы написали коллективную книгу «Остров Чехова», скоро она увидит свет, надеюсь, появится и на Сахалине. Но Виктора Бондарчука она там не застанет — что-то недолго он поработал на родном острове: то ли новая государственная нужда в нем возникла, то ли иные обстоятельства вернули его в Москву. Нового сахалинского первого я не знаю, не знаю, как он относится к Чехову. Может быть, познакомился осенью, когда Сахалин соберется воздать должное памяти Антона Павловича.

...Вскрех после Сахалина Чехов переехал в Мелихово с начатой «Палатой № 6». Дорога через всю Россию еще не остыла в нем — российский судьбы и пространства тяжело и глыбисто ворочались в нем, соединяясь в очертания будущих рассказов. Чехов пишет «Мужиков», «В овраге», «Чайку» — после Сахалина он достигает того непостижимо изобразительного уровня, который мы и называем классическим.

После Сахалина Чехов с какой-то неукротимой жадностью творил добро: построил три школы, проложил дорогу от Мелихова до Лопасни, открыл в ней почтовое отделение, построил несколько медицинских пунктов для приема крестьян — это, конечно же, не полный список, а лишь некоторые факты, первыми приходящие в голову. Писатель так мощно излучает энергию сострадания, что порой кажется: все десять тысяч ссыльно-каторжных стоят за его спиной и сообщают ему эту невиданную силу.

Позже, живя уже в Ялте, он напишет И. И. Орлову, знакомому врачу: «Я не верю в нашу интеллигенцию... не верю даже, когда она страдает и жалется, ибо ее притеснители выходят из ее же недр. Я верую в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по всей России там и сям — интеллигенты они или мужики, — в них сила, хотя их и мало». Несомненно, что это его убеждение, эта его вера укрепились и щедро проросли в нем на Сахалине.

Мы охотно и часто рассуждаем о современном звучании классики, и чем ближе юбилей того или иного классика, тем он современнее в наших рассуждениях, тем злободневнее, тем живее мы приобщаемся к его урокам. Действительно: завещал Толстой — «Не могу молчать», и мы не можем молчать, просто-таки заходимся в крике; перечитываем Тургенева и уже подзвонительно постреливаем на новых нигилистов с Арбата или с Пушкинской площади — как они похожи на Базарова! Но вряд ли нам придет в голову примерять к себе житейско-гражданские постулаты классиков: уйти на склоны лет, ночью, из дома и умереть на маленькой станции; жить, как Тургенев, на чужбине возле чужой жены и угасать от неизъяснимых тягот этой любви; да и «Колокола», как оказалось, никому не удалось повторить. Лишь чеховская жизнь взывает к нам: и вы можете! Если не школу построить, то хотя бы парту, стол для нее; если не лечебный пункт, то хотя бы ночь провести в районной больнице, у постели забытого всеми страдальца; если не десять тысяч несчастий принять в свое сердце, то хотя бы выслушать одного человека, попавшего в беду. Мы это можем, можем, можем. И сегодня и завтра. И только в этом наше спасение.



И он работает: еще на Цейлоне, морем возвращаясь на родину, пишет рассказ «Гусев», в Москве, что называется, не передохнув, начинает «Дуэль», где как раз «лени и свинству» противостоят достоинство, честный и упорный труд, гражданская трезвость. Не успев передохнуть, он принимается собирать книги для сахалинских школ, втягивая в это собирательство Левитана, сестру Марью Павловну, Лиду Мизинову, Суворина, с последним договаривается также о льготной продаже учебников Сахалину, с Добровольным флотом договаривается о бесплатной доставке книг. Перечень их в письме начальнику острова В. О. Кононовичу занимает несколько страниц.

...Осенью 1888 года мы прилетели на Сахалин. Мы — это несколько московских писателей, затеявших книгу об острове Чехова, о провинциальных подвижниках, много дней своих отдавших соотечественникам, о тех наших жизненных пространствах, на которых мы становимся людьми дающими. Добрыми, щедрыми, доверчивыми, приближающимися к Чехову. Два товарища наших добрались до острова водой и поездом, останавливаясь в городах, где останавливался Чехов, и искали там людей дающих.

В ту осень на Сахалине сменилась власть: прежнего начальника острова изгнали, так сказать, разгневаные островитяне за самонравие паче меры и, разумеется, за свинство. Приехал новый «первый», знакомые сахалинцы так аттестовали его (с генетически произвольным тяжким вздохом): «Вроде ничего мужик. Здесь родился, здесь и пригодился. К тому же образован, доктор наук, не должен вроде дров наломать».

Мы встретились с Виктором Бондарчуком — впрочем, не буду заноситься и搔ку точнее: он принял нас. И, признаюсь, быстро расположил к себе: молодой, подтянут, доброжелателен, с правильной негромкой речью. Мы сказали ему, что мечтаем увлечь сахалинцев идеей Чеховского общества, которое помогало бы местной или, как встарь говаривали, уездной интеллигенции вновь объединиться, возродиться и, как в былые времена, занять должное — главное — место в духовной жизни своего района-уезда. Что бы врачи, библиотекари, учителя, клубные работники, разобщенные в наше время нуждой, борьбой за прожиточный минимум, страхом перед идеологическими стереотипами и догматами, вновь бы стали совестью и умом своего времени. Бондарчук в ответ на наши пыльные рассуждения открыл сейф и достал несколько листочков: «Здесь я выписал имена наших артистов, художников, писателей, с которыми хочу встретиться в ближайшие дни. Хочу посоветоваться с ними, как лучше и разумнее

Чехова, где могла бы собираться интеллигенция, и Дом Чехова превратился бы в некий неофициальный духовный центр области. И в доме этом, конечно же, нашлось бы место и для одной книги, изданной в разное время в разных странах. Бондарчук опять согласился с нами, и мы расстались, вполне довольные друг другом.

Поехали в Александровск-Сахалинский или, как он назывался прежде, в Александровский пост, где Чехов провел большую часть из тех трех месяцев и трех дней. Сквозь лебеду и бурьян, сквозь котлованы и холмы райцентровских долгостроев нет-нет да и проглядывало былое очарование этого поселения на берегу океана — в живописном изгибе деревянной улочки, в какой-то уютной благожелательности тихой, зеленой площади перед гостиницей «Три брата», в рябиновых резных листьях, вдруг обрамлявших зеркало бухты. Уныло и вяло шла реставрация музея Чехова, бывшего дома Ландсберга, где Антон Павлович не раз обедал и сидел за чаем. Под нижние венцы дома реставраторы поленились подложить рубероид, и, конечно, при здешной сырости они начнут вскоре снова гнить. Как ни грустно, но следовало признать, что ссыльно-каторжные следили за чистотой и порядком в Александровском посту тщательнее и строже, нежели свободные жители Александровска-Сахалинского.

В согласии с общим запустением был и план юбилейных торжеств, посвященных столетию путешествия Чехова на Сахалин, показанный нам в горьком партия, — формальный, казенно пустой, увенчанный решением поставить памятник Чехову в центре города. Поставить за большие деньги. Если бы сочинители плана хоть иногда почитывали Чехова, они бы обязательно поняли, как чужды ему памятники и прочие мемориальные тяжести и как важны для него живые проявления человеческой сути: разбить сад, построить школу, пополнить библиотеку новыми книгами.

К счастью, не только нас, заезжих литераторов, отчаянно уязвила этакая сомнамбулическая разоренность Александровска. В районной библиотеке встретились мы со здешними учителями, врачами, охотоведами, гидрологами, и показалось, что в маленьком зале присутствует, проступает милая грустная тень доктора Дымова из «Попрыгуньи». Сколько совестливой горечи обнаружилось в тот вечер в Александровской библиотеке: «До чего мы дожили! До чего опустелись! Из дома — на работу, с работы — в дом, и будто ничего не видим, будто от нас ничего не зависит!» Причем в библиотечном зале никто не искал виноватых, не обличал ближних и дальних врагов, а прежде всего определял степень собствен-

801